

УДК 821.161.1.09 Герцен А.И.
ББК 83.3(2Рос=Рус)5-8 Герцен А.И.

А.И. Герцен: «Зову живых»

Материал к 200-летию со дня рождения А.И. Герцена включает краткую справку о творчестве писателя, фрагменты его сочинений, а также воспоминания о нем современников, которые помогут — пусть в малой степени, но почувствовать масштаб личности и литературного дарования выдающегося русского писателя и мыслителя.



А.И. Герцен. Фотография 1860-х гг., сделанная с фотографического портрета, снятого его двоюродным братом С.Л. Левицким в Лондоне (НИОР РГБ. Ф. 196 (Архив Е.С. Некрасовой). Картон 2. Ед. хр. 15. Л. 1, 4)

Александр Иванович Герцен (25 марта (6 апреля) 1812 — 9 (21) января 1870) — русский публицист, писатель, философ. Можно только удивляться промыслительным совпадениям в судьбах людей. А.И. Герцен родился в год Бородинского сражения и славы России. Когда ему было 13 лет, российское общество потрясло восстание декабристов 1825 года. Эти события стали моментами истины для Герцена и определили весь его жизненный путь и духовную эволюцию.

Он окончил Московский университет, в 1834 г. за вольнодумство был сослан в Пермь, оттуда в Вятку. В 1840 г. вернулся в Москву, а в 1847 г., после смерти отца, навсегда уехал за границу. Там окончательно сформировались его социалистические убеждения. В 1852 г. в Лондоне основал Вольную русскую типографию для печатания запрещенных изданий и с 1857 г. начал выпускать еженедельную газету «Колокол», обращенную к русскому народу и пользовавшуюся большой популярностью в России, особенно накануне освобождения крестьян. Хотя в России газета была запрещена, А.И. Герцену удалось наладить каналы ее доставки, а также получения писем с родины через надежных корреспондентов. В Лондоне А.И. Герцен начал работу над книгой «Былое и думы» (1852—1868), носившей отчасти автобиографический характер, являвшейся своеобразной исповедью писателя. Высочайший литературный талант воплотился и в других его произведениях: романе «Кто виноват?» (1846), повестях «Доктор Крупов» (1847), «Сорока-воровка» (1848), которые ставят Герцена в один ряд с классиками русской литературы XIX века.

Последние годы жизни А.И. Герцена прошли в Женеве, куда в 1865 г. было перенесено издание «Колокола».

Долгое время Александр Иванович Герцен являлся одним из самых знаменитых деятелей русской культуры XIX века. Его имя, творчество, общественные и историко-философские взгляды были известны каждому из его современников в России и русском зарубежье. В советскую эпоху политические воззрения Герцена рассматривались однобоко, его работы подвергались цензуре и идеологическим клише. В наше время творчество А.И. Герцена незаслуженно забыто. Парадоксально: будучи в начале XX в. одним из самых издаваемых авторов, Герцен для массового читателя XXI в. стал практически неизвестным. Между тем А.И. Герцен — выдающийся мыслитель, писатель и философ, особенно актуальный для современности.

А.И. Герцен Былое и думы

Н.П. Огареву

В этой книге всего больше говорится о двух личностях. Одной уже нет, — ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она.

Искандер
1 июля 1860.

Eagles Nest, Bournemouth

<...>

Прошло *пятнадцать лет** (здесь и далее курсив А.И. Герцена. — *Ред.*), я жил в одном из лондонских захолустьев, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили, и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.

Я решил писать; но одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастья, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь.

<...>

...Мой труд двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* была отстоялась в прозрачную думу — неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть *истины!*

Несколько опытов мне не удалось, — а их

* Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года. (*Примеч. А.И. Герцена*)

бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам *узнал знакомые* черты и остановился... труд мой был кончен!

Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много *только для меня одного*; может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго замечала мне и людей, и утраченное. Пришло время и с нею расстаться

Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие: это — седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.

В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец и юноша. Он похоронами

...Опыт, написанный и брошенный в общее употребление, есть книга. Книга — это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить; приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему его место. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с человечеством, в нее кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца; в нее записана та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная аутография, которая называется всемирной историей. Но в книге не одно прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом; она — программа будущего. Итак, будем уважать книгу!

ми всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко... иногда слишком широко... Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть *труд*. Труд — наша молитва. Быть может, что *плод того и другого* будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.

Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных

чертах. Чего юность *еще* не имела, то *уже* утрачено; о чем юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева.

...Когда я думаю о том, как мы двое теперь, *под пятьдесят лет*, стоим за первым станком рус-

Книга берет весь склад из того общества, в котором возникает, обобщает его, делает более наглядным и резким...

менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметен беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около... и нет нам больше дороги на родину... одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!

Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личной жизнью и будут ее оглавлением. Остальные *думы* — на дело, остальные *силы* — на борьбу.

Писателю надо желать, чтобы его произведение только будило в читателе деятельность мозга, только наталкивало его на известный ряд идей, и, чтобы читатель, следуя этому импульсу, сам выводил бы для себя крайние заключения из набросанных эскизов.

ского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* (клятва — *ред.*) на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много — три!

Жизнь... жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали,

Таков остался наш союз...
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неумоимо, —
И пусть мечты и люди идут мимо! [2]

Концы и начала

<...>

Искусство не брезгливо, оно все может изобразить, ставя на всем неизгладимую печать дара духа изящного и бескорыстно поднимая в уровень мадонн и полубогов всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму — сонную лужу под деревом, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопое, ничего мальчика, обожженного солнцем. От дикой, грозной фантазии ада и страшного суда до фламандской таверны с своим отвернувшимся мужиком, от Фауста до Фобласа, от Requiem'a до «Камаринской» — все подлежит искусству... Но

...Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века...

и искусство имеет свой предел. Есть камень преткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец; искусство, чтоб скрыть свою немощь, издевается над ним, делает карикатуры. Этот камень преткновения — *мещанство*...

<...>

Дело в том, что весь характер мещанства, со своим добром и злом, противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре, и только всему человеческому присущие страсти могут, изредка врываясь в мещанскую жизнь или, лучше, вырываясь из ее чинной среды, поднять ее до художественного значения.

Чинный — это настоящее слово. У мещанства, как у Молчалина, два таланта, и те же самые: «умеренность и аккуратность». Жизнь среднего состояния

Надо уважать книгу, надо с почтением входить в этот храм мысли.

полна мелких недостатков и мелких достоинств; она воздержана, часто скупа, бежит крайности, излишнего. Сад превращается в огород, крытая соломой изба — в небольшой уездный домик с

разрисованными щитами на ставнях, но в котором всякий день пьют чай и всякий день едят мясо. *Это огромный шаг* вперед, но вовсе не артистический. Искусство легче сживается с нищетой и роскошью, чем с довольством, в котором видны белые нитки, чем с удобством, составляющим цель; если на то пошло, оно ближе с куртизанкой, продающей себя, чем с нравственной женщиной, продающей втридорога чужой труд, вырванный у голода. Искусству не по себе

Старые люди (Дневник писателя. 1873 год)

в чопорном, слишком прибранном, расчетливом доме мещанина, а дом мещанина *должен быть* таков; искусство чувствует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки; мешает — шарманщика прогонят, захотят послушать — дадут грош, и квит... Искусство, которое по преимуществу изящная соразмерность, не может выносить аршина, самодовольная в своей ограниченной посредственности жизнь запятнана в его глазах самым страшным пятном в мире *вульгарностью*.

Но это нисколько не мешает всему *образованному* миру идти в мещанство, и авангард его уже пришел. Мещанство — идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна. Это та «курица во щах», о которой мечтал Генрих IV. Маленький дом с небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работник для тяжелой работы, да это в самом деле гавань спасения — *havre de grace!*

Прогнанный с земли, которую обрабатывал века для барина, потомок разбитого в бою селянина, осужденный на вечную каторгу, голод, бездомный поденщик, батрак, родящийся нищим и нищим умирающий, только делаясь собственником, хозяином, буржуа, отирает пот и без ужаса смотрит на детей; его сын не будет отдан в пожизненную кабалу из-за хлеба, его дочь не обречена ни фабрике, ни публичному дому. Как же ему не рваться в мещане? Идеал *хозяина-лавочника* — этих рыцарей, этих попов среднего состояния носится светлым образом перед глазами поденщика до тех пор, пока его заскорузлые и усталые руки не опустятся на надломленную грудь и он не взглянет на жизнь с тем ирландским покоем отчаяния, которое исключает всякую мечту, всякое ожидание, кроме мечты о целом полуштофе виски в следующее воскресенье.

Мещанство, последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности, — демократизация аристократии, аристократизация демократии; в этой среде Альмавива равен Фигаро: снизу все тянется в мещанство, сверху все само падает в него по невозможности удержаться. Американские Штаты представляют одно среднее состояние, у которого нет ничего внизу и нет ничего вверху, а мещанские нравы остались. Немецкий крестьянин — мещанин хлебопашества, работник всех стран — будущий мещанин...

<...>

Весной 1850 года я искал в Париже квартиру; тогда я уже настолько обжился в Европе, что мне опротивела теснота и давка цивилизации, которая сначала очень нравится нам, русским; я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел уже на беспрестаннодвигающуюся, кишашую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух... [3]

...Бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde*** прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора года предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, распались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита

** Русский дворянин и гражданин мира (франц.).

в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханно признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, — всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был gentilhomme russe et citoyen du monde, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно чрез разрыв с родной землей и с ее идеалами [4].

П.Д. Боборыкин***

От Герцена до Толстого (Памятка за полвека)

<...>

Красивым его лицо нельзя было назвать, но я редко видал более характерную голову с такой своеобразной, живой физиономией, с острыми и блестящими глазами, с очертаниями насмешливого рта, с этим лбом и седеющей шевелюрой. Скульптор Забелло сумел схватить посадку головы и всю фигуру со сложными на груди руками в статуе, находящейся на кладбище в Ницце, только, как это вышло и на памятнике Пушкина в Москве, Герцен кажется выше ростом. Он был немного ниже среднего роста, не тучной, но плотной фигуры.

Истинным духовным удовольствием были для всех, кто пользовался его обществом, те беседы, которые так согревались и скрашивались его искрометным умом, особенно за столом в ресторане или в кафе за стаканом грога. Редко можно было встретить такого собеседника даже и среди французов или южан-итальянцев и испанцев. При таком темпераменте рассказчика и, когда нужно, оппонента, защитника своих идей, Герцен, конечно, овладевал беседой, и при нем трудно было другому вставить что-нибудь в общий разговор. И он не знал устали, мог просидеть за столом до петухов, и беседа под его обаянием все разгоралась.

По-французски он говорил бойко, так же как и писал; но мы и тогда находили, что он все-таки остался в своем произношении и манере говорить москвичом 40-х годов, другими словами: он произносил по-французски, а думал по-русски.

<...>

Не могу не повторить того, что мы уже чуяли тогда в Герцене под блеском его беседы затаенную грусть, тяжкое сознание того факта, что прервалась его героическая эпопея, когда «Колоколом» зачитывалась вся Россия. Он начал тосковать от своей жизни скитальца, как бы без определенного призвания, который видел, что и в Европе его идеи точно сданы в архив. А ведь это было всего за год до падения Второй империи.

Умер он в январе 1870 года (по новому стилю), когда ему шел всего пятьдесят восьмой год [1].

Список источников

1. Боборыкин П.Д. От Герцена до Толстого (Памятка за полвека) [Электронный ресурс] / П.Д. Боборыкин. — Режим доступа: http://dugward.ru/library/boborykin/boborykin_ot_gerc.html
2. Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 1—3 / А.И. Герцен. — М. : Худож. лит., 1982. — С. 30—32.
3. Он же. Концы и начала // Собр. соч. : в 8 т. — М. : Правда, 1975. — Т. 8. — С. 80—81.
4. Достоевский Ф.М. Старые люди // Полн. собр. соч. : в 30 т. — Л. : Наука, 1980. — Т. 21. — С. 8—9.

Публикацию подготовила Г.П. Чупина,
редактор редакционно-издательского отдела периодических изданий
Российской государственной библиотеки

*** Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — русский писатель, драматург, журналист, мемуарист.